

## Виталий АШИРОВ

### ЗАУСЕНИЦА

#### Повесть

Читать сложно. Требуется принять особое положение на стуле, согнуть спину знаком вопроса, опереться локтями в столешницу, подпереть подбородок, приподнять брови, скрестить ноги. И это еще до того, как ты откроешь книгу, а уж потом начинается труд невыносимый, фантастический. Взгляд норовит скользнуть по потолку, по стенам, пронестись по тяжелым библиотечным занавесям, но его нужно пригвоздить исключительно к линиям маршрутирующих букв и так удерживать, кривясь от напряжения в течение довольно долгого времени, пока писатель заглядывает в твоё лицо, надеясь прочесть признаки одобрения, или нервно прохаживается в холле, и слышны шаркающие шаги. О, если бы сделать вид, что читаешь, а самому бездумно листать страницы! Да ведь не дают, требуют отчета, краткого содержания. На основе сих данных формируют зарплату. Книги разные – от рукописей до изящных томиков – и одинаково мучительны. Это ведь та еще работенка, составлять из черных черточек различные образы, каким-то способом внутри тебя действующие. Ходят куда-то, ссорятся, кричат, или, напротив, любят, а ты смотришь. Вещество головного мозга устает, просит пощады, и вот уже ты готов бессильно упасть, лишь бы не породить роение бестолковых картинок, однако профессиональная этика требует закончить начатое, и ты заканчиваешь, но только для того, чтобы взять другую книгу у другого писателя, который до сих пор нервно переминался в очереди, завистливо посматривая на процесс чтения конкурента, и погрузиться в нее, изо всех сил изображая интерес и оживление.

Быть читателем нелегко. Все это понимают, посему я окружен даже некоторым почетом в своем роде. Вот идет читатель, говорят они, когда я шлендаю по делам своим в свободное от работы время, или недавний случай на рынке: продавец предлагал скостить цену, взамен я должен читать его вне очереди. Нельзя делать уступки. Одному сделаешь, и сядут на тебя, и уничтожат, завалят обещаниями, лобызаниями.

Я любил когда-то книги, в шестнадцать лет, в девятнадцать... но давно не люблю. Как, собственно, и все вокруг меня. Профессиональное чтение и любовь к книге несовместимы. За работу мою ненавистную полагается доплата как за вредное производство, и я скоро ее выбью. Впрочем, платят порядочно.

Несмотря на почетный мой статус, никто не хочет быть на моем месте, потому что читать тяжело, мутно, много неясных слов, много лихорадочной мозговой деятельности. Говорят, редко читатели доживают до тридцати. Однако мне сорок девять. Уникальный экспонат. Возможно, скоро сдамся, уйду в дворники, в грузчики и почувствую себя человеком, а не аппаратом для визуализации текстов. Останавливает порядочная зарплата. Живу я достойно, хотя и тускло. Один. В моей однокомнатной квартире совсем нет книг, газет, писем. Не дай бог читать вне работы! Порой предметы обстановки насмеются надо мной. Ручка от кружки

---

*Виталий Аширов родился в 1982 году в Перми. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Нева», «Ното Legens», «Урал», «Крещатик», «Зеркало», на онлайн-ресурсах «Текстура», «Литеггатура», «Полутона», «Топос» и др. Автор книги «Скорбящий киборг. Даманда Галас за пределами ультрамодернизма» («Кабинетный ученый», 2019). Лауреат премии журнала «Урал» и премии им. Людмилы Пачепской. Предыдущая публикация в «Волге» – роман «СвГ» (№ 3-4, 2022).*

похожа на букву С. Люстра напоминает О. Письменный стол изображает Д. Ужасные флешбэки мелькают во мне! Ложусь в постель, завертываюсь в одеяло и лежу без образов, глядя в белый потолок – ах, как люблю чистые сущности без содержания!

Читатель я потомственный. Дед читал книги. Отец читал. И я читаю. Наша отрасль изначально держалась на энтузиастах, а теперь и вовсе хиреет. На всю разнесчастную Пермь остались два читателя. Один из них я, а еще на левом берегу Камы живет двадцативосьмилетний инвалид Игорь. Остальные 1 033 945 человек – писатели. Не в старом духе, не Великие сертифицированные писатели, а простые. Не знаю, плохие или хорошие, в этом никто не разбирается. Потому что нет смысла. Вот назначат тебя хорошим писателем, а дальше что? Ничего. Читать все равно буду я. А мне уже по барабану, кто ты. Полторы тысячи за авторский лист. Прочитать быстрее, да домой убежать. Или хотя бы на перерывчик, в шаурмичную.

Работаю в Горьковской библиотеке с восьми до шести. Пунктуален. Суховат. Не разговорчив. Делаю свое дело и ухожу. Передо мной, конечно, стелются. Даже главный библиограф меня опасается и находит большим человеком. Чего уж говорить про рядовых библиотекарей. С моего кресла пылинки сдувают. Трепещут в моем присутствии. А чего трепетать? Я просто умею читать книги, вот и все. Читать – это не писать, тут усилия требуются, опыт, хватка. Напряжение. Пересиливать себя приходится. Страдать. Вечером, бывало, в окно выгляяну: и все на лавочках сидят и пишут, пишут. Свободно, как дышат. Ни мысли в голове, ни малейшего усилия. Просто пишут. А я вот не пишу. Даже не пробовал.

Отец сразу сказал – будешь читателем, и точка. И книгу дал. Какая это была тоска, какое истязательство. В ту пору семилетний, я испытывал отвращение и страх. Я брал книгу аки мерзкое насекомое и пытался читать. Буквы плясали черными призраками во тьме моего воображения и не складывались в осмысленные слова. Не выходило. Отец порол. Я начинал читать снова, и опять бросал начатое, и снова он меня порол, вколачивая в заднее место любовь к книге. Постепенно я вышел на три часа чтения в день. Сверстники уже посматривали косо и спрашивали – не скучно ли, не хочется ли заняться сочинительством? Сами-то – ого-го! – третий, пятый роман заканчивали и, познав удовольствие, не могли и думать ни о чем другом. А я познавал исключительно страдание. Мне снились буквы.

Прикончив русскую классику к концу школы, перешел на творчество зарубежных авторов. Данте, Шекспир, Гете – реальность фонтанировала неподъемными текстами, и это я еще не добрался до двадцатого века – там-то совсем черт-те что. Был бледен, хил, подслеплялся. Щурился со второго курса института, где учился на читателя. Ни разу не мог подтянуться. Постоянно покалывало то справа, то слева. И, бывало, в затылке. Я таскал книги в рюкзаке и, проходя мимо камского моста, раздумывал о том, чтобы выкинуть макулатуру в реку, да берег нервы своего папы. Тот к тому времени сильно занемог и частично ослеп. Он меня вызывал к себе и инструктировал. Читай, дескать, правильно, не спеша, не уподобляйся читателям, которые видят в книге фигу и читают формально, чтобы получить вознаграждение. Сам он был именно таким – принципиальным, не формальным. А я, увы, я стал обычным. Повторюсь, не люблю читать. Думаю, что чтение ненормально и неестественно для человека. Вот писать другое дело. Но раз уж назвался груздем...

К слову о грузди. Читая, я научился (и это единственное, что я извлек из книг) забывать все, что происходит со мной, с моей жизнью. И наслаждаться какой-нибудь изящной запятой в середине предложения. Как пресловутый персонаж Гоголя. Впрочем, классику я не помню. Выборочно, кусками. Я все больше почему-то запоминаю запяты. Ах, какие роскошные лощеные запяты были у Пушкина, какие великолепные – как девушки на балете – стояли в томиках Сумарокова, какие строгие, подтянутые у графа Толстого. И как обмельчали ныне! Усреднились, растеряли царственный вид, опростились. Так и хочется отправить их в школу благородных манер или в театр на особенно блистательное представление, чтобы напитались красотой. Буквы я совсем не понимаю. Они разные, и нет в них никакого смысла. То наползают как жуки, скребя шестью конечностями, то катятся колесом. И все время подвертываются, ломоногие! Не хотел бы я уви-

деть того, кто ломает им ножки. Бедная Л! Несчастливая У! А как из них получаются картинки – того понять не могу, да нам премудрые профессора и не объясняли. Такова природная необходимость. А по мне лучше бы мозговые картинки и не выходили вовсе, ведь буква сама по себе картинка, и весьма конкретная. А получаются туманные, расплывчатые видения. Хочется развести руками сей морок и сказать: вот буква, она хороша, хоть и не всякая; вот картинка, она невыносима. 33 буквы. И триллион картинок. Как они оттуда вылазят – не постигаю.

Читать травмоопасно. Однажды я отсидел ногу. Другой раз сломал палец, нервно перелистывая слипшиеся страницы. А уж про такие мелочи, как красные глаза и пульсирующая боль в голове после длительных занятий, говорить не нужно. Я читал, читаю и читать буду. Пока чтение нужно писателям. А нужно оно им будет всегда. Что такое книга без читателя? Звезда без космоса. Ведь для чего-то они все пишут и пишут бесконечные свои романы. По знакомству я не читаю. По дружбе читал когда-то, пока у меня еще были друзья. Со временем пережились, завели детей, сделались домоседами. И все пишут. Если бы я ничего не читал, то, конечно, стал бы сочинителем. Иногда хочется попробовать. Да нельзя предавать дело жизни. Отец так и говорил: читатель величина колоссальная, писатель – ничтожная. Писатели – обычные люди из толпы, читатель же – человек, обладающий способностями, техническим мастерством. Его узнаешь по безумному блеску в очах.

И вот стою перед зеркалом и вижу опухшую рожу с потухшим взглядом. В мае мне исполнилось сорок девять. Чего я достиг? Уважения, стабильного дохода. Много это или мало? *Presque assez*. Вчера я прочитал 7 авторских листов. Сегодня 6. Иду на спад. Но как же они смотрят на меня, как ловят любое изменение эмоций на моей физии. Нравится, нравится? – аж подскакивают. Не мешайте. Как светятся, как дрожит голосочек у них, спрашивающих в конце сеанса: ну что, нравится? Конечно нет. Меня тошнит. Однако напрямую сказать не могу и отбрыкиваюсь: в вашем произведении присутствуют... (в моем произведении! Это произведение! – так и скачет сердце писателя) ...элементы художественности (художественности!) ...что позволяет сделать вывод о композиционном и жанровом разнообразии (ошалелый взгляд) ...в единой соотнесенности многочисленных структурных ...я в восторге, – вяло заявляю в финале, – пишите еще. Радуйте меня. Непременно порадуем, кричат. И радуют тем, что уходят. Они все завистливые, ревнивые и капризные как маленькие дети. В стенах читальни с ними нельзя говорить так же, как в нормальной уличной обстановке, где они перестают быть писателями и занимают иные роли – продавцов и рабочих.

По технологии гладкого вранья нам читали курс в университете. Я не понимал его важности и пропускал занятия, так что учиться пришлось на своем жизненном опыте. Работа отнимает все силы. После работы я как выжатый лимон. Лечь бы на кровать и подремать.

Уходя в темноту, отец переписал на меня квартиру в центре. Уютную, с удобствами. Двухкомнатную. В одной комнате я, в другой спертый воздух. Иногда проветриваю, но тщетно. Он заводится сам по себе. Стараюсь туда не заходить. Раньше там было светло, и воздух стоял парной, и форточка открыта. Там жила Варечка. Потом она уехала в Болгарию, и наши пути разошлись. Не знаю, чего не вынесла. Может быть все вынесла, только время пришло уезжать. Так бывает. Я ее не любил, зато она меня, кажется, любила. Не могу сказать наверняка. По прошествии лет это все потеряло значение. Порой хочу узнать, как там она. Навожу справки. И тут же себя одергиваю: ты что, зачем. Болгария большая, Варечка маленькая. Маленькая-маленькая. Как птичка.

Лежу под одеялом, положив на лоб холодное полотенце и слушаю, как у соседей звенит эмалированный таз, который куда-то переносится. Я знаю, он не живой, но почему-то представляю: вот он огромным глазом косится на соседа, как непокорный конь. Вчера приходил к ним, предъявлял требования. Меня презрительно выставили. Вот придут в библиотеку со своими погаными книжками! Все выскажу без обиняков. Соседей вроде бы двое – молодые, в гражданском браке. А по сути, там собирается по полста человек, чтобы проводить время в диких танцевальных вакханалиях. Я бы, конечно, переехал, но это значит поражение. В моем статусе читателя нельзя допускать таких досадных положений.

Живу на пятом этаже. Выше меня – голуби и звезды. В соседней комнате горы неубранных вещей после Варечки. Не поднимаются руки. Вдруг она приедет. Она должна приехать, иначе бы так и сказала: *toujours et à jamais*. Она ничего не оставила, ни слова, ни записочки, просто исчезла. Обиняками узнал. Впрочем, это естественно. Ведь мы не были близки. Я, конечно, к ней привык и уже не мыслил комнат без ее цветного присутствия. И вот на тебе. В Болгарии, говорят, у Вареньки статус вдовы генерала и двое детей. Порой хочется туристом... Но лень. Что мне там делать? Допустим, встретимся. А дальше? Нет мне до нее никакого дела. Я сам по себе. Всегда один. Книга предполагает уединение. И так хорошо с книгой. А с Варенькой плохо. Вру. Безбожно вру. Везде и всегда плохо. Так уж устроены люди, врет во мне профессор анатомии. Что ж, мы не камни, не мхи. Наша участь страдать, подбадриваю себя. Хотя плохо представляю, что такое – страдать. Я равнодушен, глух ко всему. Может быть, я и есть камень. Сколько себя помню, никого не любил и, соответственно, не страдал. Возможно, люблю самого себя. Возможно, испытываю влечение к зеленым бумажкам в день зарплаты. Какое мне дело, какое мне дело...

Мать умерла при родах. Воспитывал меня отец. Хороший, справедливый человек. И неподкупный. Все время читал и пинками гнал подхалимов из числа писателей. Друзей моих не одобрял. В детстве у меня была веселая жизнь. Однажды мы с ровесником уехали в соседний город и, досыта натаскавшись по рынку, вернулись в полночь. Теперь он со мной не здоровается. Сложно понять, что происходит внутри писателей. Слишком они другие. Положим, я многое знаю о них через их книги, но ведь не все. О самом важном никто не пишет. Самое важное – это не X, который любит Y, а может быть пустая комната, снег в августе, заусеница на пальце. Эта-то проклятая заусеница и есть главное. И никто не пишет о ней, расходясь словесным веером про досужую романтику на морских парапетах и грубые стычки мужланов.

Мой мир, впрочем, прост как штрих в учебнике начальной геометрии. Есть город, есть комната, есть живое, бьющееся сердце. И книги. Триллионы треклятых. У меня щегольски подстриженные усики и толстые круглые очки в изящной оправе. Перед зеркалом я особо не кручусь. Не люблю свои отражения. Что-то в них проскакивает противное. Говорят, писатели обожают смотреться. Я не писатель. Пора бы и представиться (чуть не написал: представиться...). Зовут меня... а впрочем, неважно. Лучше расскажу, как мы познакомились с Варечкой.

Было это девять лет назад в субботний день в библиотеке. Я читал. Презрительно набрасывался на буквы. Качал ногой. И вот пришла тощая как коза семнадцатилетняя студентка в джинсовом сарафане и объявила, что сейчас переможет окна, потому что велено мыть. Мне требуется потесниться, а проще – совсем покинуть помещение, бо – холодновато. Я – звонить в управление текстовых ресурсов, так и так, мол. Сказали: запланировано. Сначала я не рассмотрел ее вовсе. Я был одному только рад, что она не притащила розовый роман с туманными грезами. Грымзами, розгами, etc. С кавалерами и кракелюрами. При ней как будто не было тетради или завалившего блокнота. Даже фигового листка. Была Варенька в этом отношении удивительно голая, и только спустя много месяцев я узнал, что она не пишет ничего. Либо ты пишешь, либо читаешь. Иного не дано. Так ведь она и не читала. Книги ей претили. Тогда я ничего подобного не знал и с неприязнью думал, как буду отказывать ей в немедленном удовлетворении писательского права, посылать в очередь. Я на нее не смотрел, потому что глаза мои скользили по ненавистным строчкам. Долг требовал прикончить книгу и отправиться в кафешку. Или то был желудок. Пришлось мириться с ветром.

Она все делала тщательно. Скорбно стояла на подоконнике, будто собиралась прыгнуть из окна. Зверски мылила тряпку, как грязную рубашку родного ребенка. Тут нельзя не сорваться на патетический стиль, на язык «хорошего писателя», посему кончу эту сцену уклончиво: мне было дурно после съеденных сарделек, я не взял автобус и протащился через весь город, благо он уютный, ладно суженный в каменные мини-лабиринты сырых улиц.

Совершенно естественно, что я никогда не знал женщин. Писателям сие свойственно, читателям отнюдь. Хотел ли я? Вопрос философического склада. И да и нет. Периодами. Так как я много читал, то хотел отдыха измученным глазам, глубокого сна без картинок и повествования.

De plus, нужно было добиваться статуса, просить места в библиотеке. Не все являлось сразу, кое-чего приходилось доскабливаться. Конфетно-цветочный период у меня был с администраторами литературных центров, с организаторами читательских встреч, с менеджерами и директорами библиотек. Счастливым, двадцатилетним, со слезами на глазах. Пожимают руки, напутствуют. Напутствуют постоянно. До сих пор напутствуют. Тянут микрофон. К новомодному чтению вслух, впрочем, отношусь скептически. Текст озвученный – не художественная литература, а пошлейший обморок популярного шлягера. Образы, образы... Что мне мешает прямо сейчас, вот прямо сейчас превратиться в черную крысу и шмыгнуть в какую-нибудь незаметную дыру в закутках комнаты? Тсс... Дыхание. Важно правильно и глубоко дышать.

В двадцать три года у меня был приятель Николай. Из писателей. Постоянно влюблялся, сочинял тоскливую гиль про женщин, ссоры и сыр-боры и говорил, что завидует моей таинственной способности ни в кого не влюбляться. Так что я черный плащ. Орландо. Калиостро. Граф Монте-Кристо. Мне были непонятны его смешные страдания. Конечно, по-своему я страдал. Но разница между нами была подобна различию между трещиной в стене старой хрущевки и Марианской впадиной. И вот он отвалился от меня. Дети. Разводы. Бумажные кораблики. В двадцать четыре я был бешеный бык. Прямо-таки горел половым желанием. Пожираемый оным, читал еще больше. И все же решился снять девицу. Нет, не решился. Морока, возня. Представьте себе, не люблю проводить время с незнакомыми людьми.

Девица казалась мне вульгарной вариацией банальной пожилой парикмахерши, к которой я бы не стал прикасаться ни за какие коврижки. Да и процесс разоблачения смущает. Неужели и плавки тоже? Ужасно. Кто из нас осмелился бы ринуться в парикмахерскую, лихо вертя передом? Отмороженные. Я же был заторможенным и спасался от оголтелой банды гулящих баб в четырех стенах домашнего уюта, помышляя о книгах, и в робких ночных поллюциях – без видений и фантазий – ускользала от меня страсть, нерожденные дети, алименты. В двадцать шесть я был машиной желания. Заводом по производству человечества. В рукомойник утекли будущие жители небольшой страны, с парламентом и фракциями. Бог бунтовал. Я ни в кого не влюблялся в платоновском смысле – не было в узком поле моего зрения никого, кроме марширующих букв, и стен, и светильников. Древние дамы в библиотеках бесили навязчивостью. Мельком, в трамваях, если я, бывало, видел что-то интересное, в красном ли платье, с голыми ли коленками, смотрел беззастенчиво, пока не пропадало. Вечная морока. Ангел небесный, ангел небесный, за что?

Разменяв четвертый десяток, приобрел за эту мелкую, звонкую монету несколько полезных вещей: благоустроенную квартиру на окраине, неприметную одежду читателя и абсолютный иммунитет к привлекательным женщинам. Разжился самоваром и обогревателем. Одно время жила у меня крыса по имени Леся. Потом она окоченела. Теперь со мной живут неуловимые пауки и противные мошки. Вся эта кипучая живность наползает из Вариной комнаты. Надо бы навести порядок, побрызгать – не могу. Я очень ленив, до того ленив, что в свободные часы готов беспробудно спать, и больше ничего не требуется. Счастливы ли я? Не знаю. Скажу, что наверное счастлив, если кто-нибудь предоставит строго выверенную формулу сего состояния. Думать я не научился. Чтение занимает мысли, заменяет чужими картинками. Вопрос о том, мыслят ли писатели – дискуссионный. Варечка о чем-то думала, но я никогда не узнал ее мыслей. *Шла коза на каблуках, в модных красных сапогах.* После работы они садятся за письменный стол и превращаются в кого-то еще. Из грузчиков – в колумбы. Из уборщиц – в бомбометатели. Или в резчиков по металлу. Я всегда остаюсь собой. Для меня герои – бледные тени, и мое эго довлеет над всем. Не погружаюсь в текст целиком, не ныряю в него с головой, только брезгливо засовываю кончик мизинца и проверяю температуру.

Я нежно люблю читателей. Каждая встреча с ними наполняет меня гордостью за нашу профессию. На всю страну нас осталось не более двухсот. Дальние регионы и вовсе без читателей. Тамошние писатели в тоске, в упадке. Правительство озабочено, ищет меры. Раз в год собираемся в Московском доме читателя и совершаем разные кунштюки. Иногда это новомодное чтение вслух. Чаще – рассказ о выполненных планах, интересных текстах. У ораторов горят глаза,

сжимаются кулаки. И после ордой несокрушимой идем в зал, распиваем спиртные напитки, и неформальное общение сближает нас.

Я знаю читателей назубок. Вплоть до расположения потайных заушных родинок и обидных болячек. Все мы люди пожилые, калачи тертые. Новых работников не прибавляется. Никто не хочет читать и бездействовать – чают летать и лицедействовать. Напирают на особое удовольствие, познав которое, нельзя остановиться. Да ведь есть долг, принципы, совесть. Молодежь примитивна, вожделеет моментальную выгоду. И не представляю, что произойдет, когда вымрет последний читатель. Кто будет вас читать, дорогие? Звуковая читалка? Без эмоций и оценок? С фальшивыми, случайно заложенными одобрением и порицанием? Писателю-человеку нужен читатель-человек. Конечно, писатели могут читать друг друга, но кто поручится за объективность?

Мы необходимы стране. Совет читателей состоит из десяти старцев. Председатель – лучший из нас, опытнейший Валентин Петрович. Ему девяносто два. Да пошутее иных детей. Он славится скорочтением. За пару минут проглатывает средний рассказ. За час – повесть. За два – роман. И не может остановиться, и все мало ему. Суждения ВП не всегда понятны, темны. Интерпретаторы, впрочем, содействуют, предлагая нам брошюры с выглаженными цитатами из ВП. Он осуждает формальный подход и славит философию полной отдачи себя. На оную уповал и мой отец. В ближнем круге три старца, младшему – восемьдесят восемь. Периодически происходят рокировки, смещения. Тоже, надеюсь, когда-нибудь войду в управу. Достаточно верить в избранный путь и ждать прибавки возраста.

Мы пьем чай с плюшками. Бурно обсуждаем проблемы. Жалуемся на бездействие властей. Огорчаемся плохим книгам. Радуемся хорошим. Жмем руки, обнимаемся. Чокаемся. Половина из нас запойные пьяницы! Если кто-то грозит написать мемуары читателя – отговариваем, ибо негоже. Максимум, что лезя – создать инструкцию по заправке перьевых ручек; разработать кодекс поведения писателя в библиотеке. Впрочем, такого добра навалом. Современный автор не обращает внимания на правила. Он ведь ничего не читает. Реагирует на окрик, недовольное ворчание, дерг за плечо. Он стоит передо мной счастливый, с очами, расширенными от восторга, и тычет ворохом распечатанных бумаг. Мне он снится в образе монстра. Я не могу уже.

Предчувствуя гибель идеи и надежды, верхи суетятся, пропагандируют чтение. В Калуге в ста метрах от бронзовой статуи Пушкина установлен памятник анонимному читателю (замечал определенное сходство со мной). Открываются клубы юных книголюбов. Но тшкетно. Там и ноги не бывает действительно юных существ. Они кучкуются в писательских кружках. Порой, перепутав дверь, забредет старушка или старичок, и тихо извиняясь, поспешит в булочную. Идеи, фигуры, композиции, вот о чем они грезят! Стиль, стиль – вот о чем они мечтают. О гладком стиле, о персональном стиле, о марионеточном языке, который повинуетя едва заметным подпрыгиваниям пальцев. Они влюблены в метафоры и олицетворения. О, артиллерия аллитераций! Триллер и трель! Выкаблучивания вокабуляра! Поиск точного слова для описания бессмысленной ерунды, так и оставшейся в черновиках. Шизоидность причастных оборотов. Параноидальность дееспричастий.

*Шла коза на каблуках, в модных красных сапогах.* Мы это разбирали в институте. Увы, он расформирован за ненадобностью. Что еще... Да ведь большинство пишет наобум, облыжно, захлебываясь радостью, вытягивая за ушко из подвала воображения, как виноватых котят, кривые заблудившиеся слова. Мало кто правит написанное. Зато горазды размножать в десятках экземпляров. В девятнадцать, в двадцать лет читать хорошо написанный текст мне было приятно. Уважение к тебе, гордость пронизывали меня, тщательный писатель. А потом как-то скукожилось, овсервелось. *Шла коза на каблуках...*

Я смотрю на огромный город, что вздымается за синим бором, и чувствую свою ответственность за его правильное функционирование. Тяготит ли меня отсутствие наследника? Тяготит. Планирую взять на воспитание из детского дома какую-нибудь бледную птаху с внимательными глазами. Планирую, планирую... и перестаю планировать, увлекшись насущ-

ными делами – поспать, постираться. Сие приводит в состояние коллапса душевных сил. И вот ребенок. Как впишется в отлично сбалансированный хаос моей жизни? Что скажет в ответ на протянутую книгу? И еще его ведь нужно бить. А я чуюсь насилия. Чур, чур...

Писательницы настойчиво донимали меня, когда был моложе. Напрашивались на randevu, бросали восхищенные взгляды и в томный момент игриво знакомили со своими произведениями, вынимая оные как козырного туза. Я читал, плевался. Мы навсегда прощались. Крокодилы не видели во мне человека, лишь официальную инстанцию. Далекий, таинственный. Читатель. Заносчивый гений, хранящий тайну их произведения. И я, что я мог найти в личностях, перманентно буруеваемых зудом письма? Может быть, у них были хорошенькие прически, да я видел чернильные перья. Может быть, у них были точеные линии ножек, да мне являлись линованные тетради. И весь этот фарс, весь этот бред стоило скомкать, вырвать, швырнуть и убежать, крича и закрывая очи. Не убежал. И вот Варенька. Любить ее было естественно. Не полюбил.

Училась на дизайнера, но, кажется, не понимала профессию, предпочитая мотаться по городу с подругами, хихикать, брать баллонами дешевое пиво, сидеть на спинах скамеек, что-то мутное курить, подслеповато вглядываться в переливчатый муар влажных отражений после чернеющего к ночи дождя, говорить ни о чем, обо всем сразу, незаметно перебирать тонкие холодные пальцы случайной подруги, скучать от безделья, злиться по пустякам. Она искреннее верила в деда Мороза. У нее в Болгарии жила троюродная бабка. Варенька была одержима самоубийством, потому что отрицала собственную смерть. Варенька считала себя некрасивой, и была права. Когда мы стали жить вместе, я обреченно подумал: вот и дождался, вот и мне обломилось. Еще не понимал всей иронии мироздания.

Как же это происходило... события шли последовательно, да память привередничает. После несвежих сарделек я несколько дней провалялся в постели, в счастливой праздности считая завитки на обоях. Руководитель был предупрежден по телефону. Птицы за окном суетились на телевизионной антенне, будто склевывая лакомые крохи увлекательных передач. Снились книги с вырванными страницами. Без антракта приснился кошмар: мной написан любовный роман. Бережно несу в читальню. И с холодком в груди сознаю, что сам должен читать. А там такая тягомотина. Буквы разваливаются на крючочки и палочки, смыслы тянутся, как леденцовая карамель. Любовная линия становится зигзагом. Вечером мы сидели в кафе, и я, захлебываясь от смеха, пересказал сон. Самое странное, что никак не могу вспомнить, в каком месте наши дорожки пересеклись. Должно быть конкретное событие, и ничего нет. *Шла коза...*

Допустим, подобрал тебя в парке, в полутьме, полупьяную, пьяную. На подвертывающихся ногах направлялась восвояси (удивительное слово на языке младенцев описывает потайные пути иных бесприютных прелестниц). И вот мы разговорились, и ты зачем-то расплакалась на плече моем, словно хорошо меня знала, или я по роду деятельности обязан выдать индульгенцию твоим грехам. Из бессвязного лепетания ничего не понял и порешил за лучшее дать тебе возможность выпасться у меня, потому что и тайно и откровенно был взволнован идеей девушки, лежащей на моем диване цвета *cuisse de nymphe émue*. Сорокалетний, курицелопый. Чудесные образы претворились в невзрачную реальность. Я сидел на кухне, попивал чаек, и думал, что скоро сюда ворвутся полицейские по заявлению о хищении человека. Какая-нибудь бдительная карга нажаловалась. Варенька храпела. Варенька ворочалась. Вареньку стошнило. Я передвигался на цыпочках – хотя ее не разбудил бы и лихой танец краковяк – подтыкивал на бедрах одеяло, убирал все эти гадости. С сияющим видом смотрел в зеркало и не боялся его хамской рожи. На тебе был белый свитер с мышами (не решился снять), узкие джинсы и малахитовые висюльки в ушах.

Варенька проспала до обеда. Мне удалось соснуть на несколько часов. Дождь зарядил задолго до пробуждения и колотил в мои цветные сны, разбивая их вдребезги один за другим. Пока я суетился на кухне, облегченно отмечая, что день выходной, что никуда не надо, больной ребенок вышел из комнаты, не понимая, как здесь оказался, и, заметив чужого, нахмурился, улыб-

нулся и снова нахмурился. Я не предполагал, что в человеке кроется такая бездна любопытства. Уютно расположились мы за столом вокруг пустой серебристой вазочки из поддельного металла. После моих неловких объяснений – я будто боялся что-то сказать неправильно, не то, но не в чем было каяться – она накинулась на меня с беспорядочными расспросами. Дивясь вниманию к моей убогой читательской персоне, отвечал обстоятельно. Не слушала, перебивала новым вопросом. Принимал правила игры, тоже что-то задавал, и ты отмахивалась или игнорировала, потому что за окном сорвалась бельевая веревка, и рядом панталоны распластались на листьях. Фривольный ветер шевелил им края, отчего они напоминали ярких медуз на морском дне, и это было поразительно смешно. Вечером в кафе я поил тебя минеральной водой, пока ты болтала с подругой по телефону.

Вот и все. Продолжения не последовало. На детские свои вопросы Варенька получила ответы, а я, похмыкивая и пожимая плечами, тушевался. Что я мог, что должен был сделать или сказать? Разве так это происходит? Разве иначе? Бульварщина претигла изящному вкусу. Я воспитан на лучших образцах модернизма. С ходу отметаю неудачные композиции, даже если они сформированы не человеческим воображением, а прихотливой волей пространства и времени (а иных композиций, кроме неудачных, природа яви не имеет в заглавнике). Как же оно должно происходить, я не знал. Но не так, не так. Слишком сумбурно, легковесно. Нужно как-нибудь структурно, через анжамбеманы, через преодоление, минуя постылую рутину вербального. В молчании, в поту. Положим, ты солдат и движешься через препятствия к неясному свету, по лицу хлещут ветви, в рот лезет грязь. Слово тебя выдаст. Любой окрик и – смерть. Или ты спортсмен, несешься к финишной прямой, – огорошь комплементом соперника и останешься в дураках. Штатный читатель, я не был марафонцем или военным, но все-таки что-то такое предполагала моя должность. Преданность, отрешенность. Слова о Варе не держатся в строгих рамках классического повествования. Беспорядочным потоком хлещут из старой лейки моей памяти. Что растет здесь? Цветы? Нет, не могу.

И вот мелькали спокойные дни – широкие, белые зубы времени. С неожиданной злостью я понял, что работа в библиотеке доставляет мне многомерное удовольствие. Но как будто что-то ныло внутри и требовало написать хотя бы маленькое стихотворение: так и так, дескать, *в модных красных сапогах*. Держался. Резонным представляется существование негласного запрета на совмещение писательства и чтения. Делу надо целиком отдаться, не спрехвала. Те из нас, кто оступился, обыкновенно не возвращаются к читательской стезе, постепенно их затягивает словесный водоворот, они пишут и рыщут в поисках читателя. Бедные, трясущиеся фигурки. Отлично осведомленный о подводных камнях, я гнал рифму поганой метлой.

\*\*\*

Удалось перевыполнить план. Получить надбавку. Меня хвалил губернатор. Приехал в читальню, пожал руку. *Товарищ, ты идешь в направлении столичного масштба. Не щадишь себя, читая неукоснительно. Высокая честь жить в твою эпоху, о скрупулезный помощник автора!* И неожиданно ошаршил, бодро объявив, что по недавним инженерным расчетам здание библиотеки находится в аварийном состоянии. Ожидается снос, и, соответственно, переезд. Подробности сообщим. Он канул в черное нутро автомобиля, а я буровил взглядом потолок, силясь обнаружить трещины, червоточинки.

Отложив мертворожденный роман, прогулялся по зданию. Крепкое, монолитное, словно выдолблено из куска мрамора. Впервые осознал, что никогда прежде не изучал его целиком, не забирался куда не следует, довольствуясь чинным читальным залом, гулким коридором второго этажа с старинными картинами (мадонны и принцы) и тесным гардеробом, где вечно дремала одна и та же бабулька в робе уборщицы. Здесь было столько книг, что они то и дело вываливались из каких-нибудь темных ниш и, раскрытые на кульминациях, завлекали погонями

и перестрелками, ловили на острый крючок блестящего стиля, на худой конец будоражили воображение борзыми обложками со слизистыми шупальцами и дебельными девицами. Как же все это будет складироваться, переноситься. Я не мог представить. Я был в замешательстве. Я попал в замес. Привлекут ли меня для погрузочных работ?

Инспектируя библиотеку, не встретил никого, только в кабинетах гудели голоса – то школьников, то писателей. Переговорить с инженером. Ни трещинки. Что-то упустил. А ведь еще подземные этажи, но там не разгуляться. Заставлено, завалено. Всюду фикусы. На кой нам эти фикусы. Рулоны плакатов с давно не актуальными сентенциями. Кадка с высушенной пальмой, или как называется это многопалое растение? Проблемы кроются в нижних этажах. Конечно, не пустят. И все-таки подошел к служебному входу, приоткрыл. Темнота, приторный запах какой-то особенной, наверняка *улицторской*, книги. Отчего же так неожиданно? Буднично, лично. Предпочел бы объявление на уличном стенде. Громогласно, ультимативно. Под снос!

За высокими стеклами вестибюля кружился снег. В морозной белизне выпачканы гнилые листья, жухлая трава. Моя жизнь (*ma vie noire, folle, noire*) связана с Горьковской библиотекой, с ее неспешными внутренними процессами, прямыми углами и плавными траекториями, резкими щелчками оконных шпингалетов, и шорканьем тряпок, и вкрадчивыми покашливаниями, и нежно-голубоватым потолочным сводом, и книгами, и еще книгами. Повторюсь, толком не был в подвалах. По самым скромным прикидкам хранится миллион. Прочитал меньше процента. И уже, как мошкара на трупe марала, суетились внизу рабочие, заправляя погрузчики аккуратно перевязанными стопками. Вот и началось, подумал обреченно, радостно. Впервые за долгие годы хотел читать, читать что угодно, но только пропасть в выдуманном мире. Вспомнил, что парочка настольных покорно сидят в приемной, и поспешил туда, однако они ретировались, оставив тугие папки на письменном столе. Читать в отсутствие автора незитчно. Допускается для писателей, которые в силу естественных причин не могут находиться рядом. Классики, крамольные беглецы, хворые. Не совсем полноценное чтение. Я привык, чтобы заглядывали в глаза, трепетали, нервно грызли ногти.

Мой первый раз незабываем. Двенадцать лет. Я беспечен, самоуверен. И вот старинный приятель отца. К несчастью, писатель. Наслышан обо мне. Подающий надежды читатель, с искрой. Впервые заметил, что писатели, шагая со мной, начинают семенить и поглаживать рукопись, как строптивное животное. Шел из школы. Он увязался следом. Дескать, пишу. Смотрит с безуминкой. Тянет помятые листочки. Мы пристроились на черных перилах возле памятника Боратынскому, стряхнув снежок. Я читал серьезно. Хмурился, чтобы казаться старше. Краем глаза отмечал: старик изнывает, облизывает губы, силится прошептать что-то типа «Ну, ну?» Боится, что брошу, обижусь. Дотерпел до конца. Это был длинный рассказ о бессмысленной, несостоявшейся любви. Что я мог знать об этом, как мог судить? Ну? – выдохнул спутник. Облачко пара, образовав пушистый знак вопроса, рассеялось. Мне нравится, сказал я. Он приосанился, воспрял духом. С него слетели минимум десять лет. Он сухо попрощался, переложил рукопись в пакет и подпрыгивающей походкой удалился. С тех пор обо мне загремела слава. Читатель, умница. Специалист. Ангелы, архангелы, за что мне все это?

В пятнадцать я писак ругал, гнобил. Не понимал, что тем самым увеличиваю количество самоубийств. Отец имел со мной суровый разговор. *Тебе дана чудовищная власть над людьми. Ты больше, чем президент, чем даже бог, ибо он невидим, отстранен, а твоя профессия прямо влияет на поступки, на гармонию жизни. Жестокость недопустима. Лишь тонкая игра понятий. Жонглирование жестом и звуком. Шарادا подмигиваний. И вот – озаряет. Исподволь мы подводим автора к пониманию того, хорошо или плохо его произведение. Ну и, конечно, опыт. Накапливай. Он сын ошибок трудных.* Несколько раз меня били, с угрюмым садизмом добиваясь того, чтобы сказал: нравится, очень хороший роман, талантливый.

В семнадцать стал дипломатичен, разливая комплименты тем, кто располагал к себе внешностью. Девицам, благообразным старцам, буйным мужикам. Иной раз использовал власть чтения, чтобы проучить неугодного (текст был даровит), или вот ополчился на неприятного типа

с бородавкой на носу и казнил, издеваясь. Виновата бородавка. Фокусы беспечной молодости. На исходе второго десятка сделался выдержан, равнодушен. Нет-нет да и сорвусь, поморщусь или крикну восторженно. И опять спокойное проникновение в суть текста. Только в моем присутствии чужие тексты обретали законченность, витальность. Только со мной они говорили, для меня писались. И сознавать это становилось все труднее. Я обрюзг, оброс, обнаглел до такой степени, что раздавал наобумные оценки и черкал отсебятину в читательский дневник. Был уличен, разоблачен. Стоял вопрос об исключении. С той поры действую осторожно.

Я продолжал смотреть на сложенную работу за окном. Пачки книг исчезали в черной полости грузовика. Библиотеки периодически переносятся туда-сюда, но чтобы такая... Крупнейшая в области. Исторический памятник. Горький – мимоездом. Позвонить в комитет, уточнить. Что же вы, проворчала уборщица, помогайте. И юркнула в приоткрытую дверь подвала. Помедлил, озираясь в поисках перекошенной начальственной рожи. Довольный тем, что наконец обследую нижние комнаты, шагнул в темноту. Никто не окрикнул, не завывли сирены, не явились плечистые молодчики. Путь был чист и пуст. Я знал: совершаю ошибку, старуха в темноте обозналась. Инструкции не вручены. Сколько там этажей? Три? Четыре? А если десять?

Отличаясь потрясающим нелюбопытством, которое, впрочем, ближе к инстинкту самосохранения, нежели к унылой черте характера типичного филистера, скромного жильца меблированных палат, я лишь единожды, вместе с моей тогдашней водительницей, тучной, восторженной, седой матроной, в процессе ознакомительной экскурсии по библиотеке, забирался вниз, по этим крутым, гладким ступенькам, да как-то махнул рукой, потому что стало не по себе, потому что затихли шорохи сверху, и поскорее выбрался. Наборматывая под нос разного рода полезные сведения об устройстве складских отсеков, она беспечно опускалась и, не тотчас заметив мое трусливое, предсказуемое отсутствие, зашлась грубым смехом. Говорили, однажды пропала там навсегда. Досужие байки уровня городского фольклора. Варенька до них была охоча. Варенька спала до полудня. Варенька разгадывала мои сны и не любила щекотку.

После нечаянной нашей встречи прошло полгода. Я прочитал девяносто романов, двести рассказов, одну недурную повесть и мерзкую поэму под названием «Пепелище». Я был награжден премией «Совестливый читатель». Я поскользнулся на первом ледку и ободрал колесо. Я приготовил индейку, лазейку, копейку. Спал беспокойно, ворочался. Кушал киви. Шел на хоршем счете. Что еще... Что еще мне добавить, чтобы до вас дошло...

Глаза привыкают к сумраку. Лестничные пролеты, освещенные парой тусклых ламп, заканчиваются. Вступаю в длинную залу с низким потолком. Двигаюсь аккуратно, чтобы не задеть бесчисленные стеллажи. Свет здесь унылый, какой-то разминочный, словно его включили не для человеческого, для паучьего мутного зрения. Я всегда был в окружении книг, но столь беспардонного количества не доводилось встречать. Порой уложены хорошо, порой громоздятся кое-как. Грозят сверзиться на голову, требуют не проходить мимо, стряхнуть пыль с корешка, раскрыть, углубиться. Что ж, принимаю приглашение.

Возле картонного указателя с библиотечной белибердой толстые фолианты позабытого советского классика. Имя (пыль усердно стираю, не стирается) – кокетливым курсивом: Алексей Ковалев. Проза СССР была, конечно, великой, но лик ее оказался вельми крив, и в целом имел отстраненное, необщее выражение, как бы смотрел сам в себя, в потустороннее пустое зазеркалье, отчего внушительные тома послушных гениев хранятся в темнотах, а школьников по старинке мучают Пушкиным, ибо в нем, видимо, концентрация садизма и зла. Да нет, Пушкин – пушинка. Не дай боже изучать Ковалева или иного колхозного реалиста, проникшего в *сущность насыщенной проблемы*, там обреченность – космическая, отчаяние беспредельное. Веет смертью, страхом. Струятся миазмы разложения. Изготовились голодные черные птицы. Советские критики называли это: лиризм. Вот и на меня бросился душастый лиризм, едва открыл оглавление. «Кто, если не ты, и когда, если не теперь» именовался увесистый роман. Я уж на сем моменте преисполнился. Бухнул книгу на полку и автоматически зашарил в поисках крюка, чтобы повеситься ...когда, если не теперь?

К счастью, на соседнем стеллаже россыпью детская литература. Носов, Барто, Давыдычев, Воробьев, Успенский. Прижаться щекой, глянцевого обложки, спокойствие, – о боже, боже, как покойно с ними, в мирах иррациональных и радужных! И вот, значит, образовалось поколение людей (уже и не одно), которые не плакали в детстве по мишке, не шипперили Кнопочку с Незнайкой, ни в коем разе не слышали об аутичном Чебурашке, не смеялись над умственно отсталым двоечником Иваном Семеновым, не чаяли отведать таинственный суп Бурдэ. Да что я говорю! – даже русские сказки про смекалочку и всепобеждающую ленту неизвестны сим баснословным, толиким гражданам. Отказываюсь вообразить, что происходит в сознании оных. Если они являются людьми, то не такими как я, альтернативными, лишь оболочку имеют антропоморфную, а внутри лазурь и зарево навыворотного бытия. Они все пишут и пишут, и пишут. Строчат сообщения, сочиняют фанфики. Не оттого ли, что пусто у них внутри, не оттого ли, что нечего вспомнить, не на чем задержаться, и нельзя позвонить в глубину заскорузлой памяти: вечное занято. Эти убьют без раздумий, похода, не размениваясь на сожаления и финтифлюшки морали, сообразно приказу, согласно инструкции, – гласил во мне старческий докучный бред, и тут же другой голос, молодой, возражал: а как же Варенька, ведь не читала, и тем не менее, и все-таки...

Часто бывает в моем внутреннем споре, когда все гармонично и красиво распределилось, стороны довольно пожимают руки, консенсус торжествует, нисходит благодать, вдруг откуда ни возьмись вздымается тень Вареньки, и снова – брожение, кружение, резонерство, ужимки, бесполезные ухищрения. Ведь не читала она, и я не знаю о том, хороший ты человек или плохой. Ничего о тебе не знаю. Хотя ровно пять лет и сто двадцать шесть дней ты жила со мной. Со мной. Авес мої. Материала хватит на солидный роман. «В постели с читателем», положим. Или – «Читая читателя». «Тщетатель» – придумал я неологизм. Пользуйся. А может ли быть так, что все это – и юмор и страх, и наслаждение, и прочее из детской прозы, – набирала она из другого источника, может быть даже более чистого, тонкого и недоступного мне? Из воздуха, из призрачных переливов утренних лучей на кирпичной стене, из каких-нибудь нелепых звуков за дверью школьной подсобки? И в чем тогда символическое значение Незнайки и Кнопочки, если сегодня служат они лишь средством разъединения людей? – шептал во мне несносный интриган, куцый политик, покамест я продирался в глубь коридора, зажатый стеллажами порой так крепко, что приходилось идти бочком или приседом. Книги возбудили во мне жалость столь сильную, что выхватив наугад какую-нибудь тусклую, в обложке задубелой, с трудом способной открываться (или ты никогда не открывалась?), не швырял как попало, возвращал тютелька в тютельку туда же, вставлял под тем же углом. Нас всего двести человек, немислимый процент литературы останется навсегда неохваченным нами. Эта идея не умещалась в сознании, росла, напирала.

По мере того как я продвигался вперед, серебристый свет на паре глухо гудящих потолочных пластин бесился, то пропадал, то вспыхивал, и вот погас совсем. Шел ощупью. Когда глаза привыкли к сумраку, увидел, что ряды закончились, и новый лестничный пролет ведет ниже. С готовностью окунулся в него, не терпелось узнать – что же там, книги? И там опять были книги, еще больше, еще кучнее, теперь они лежали, перевязанные бечевкой, и на полу, и на крышах стеллажей, развернуты и так и сяк, и жесткими углами больно цепляли мои ноги. Я не видел логики в их расположении, потому что и здесь хранился Ковалев и его замшелые собраты. Мелькнул и томик Успенского, изданный миллионным тиражом. Видимо, тут давно не прибирались, поскольку пыль облепила корешки, забралась в ноздри. Чихая, вздымал косматые клубы пыли из неведомых щелей. Этот коридор – не прямолинейный, он изгибался как будто все вправо и вправо, закольцовывался, и если бы я вышел к той же точке, с какой начал, вряд ли бы удивился.

Множество полок были посвящены современной поэзии, что, с одной стороны, отрадное зрелище, с другой – картина удручающая. Поэзия пишется не для читателя. Изредка ко мне являлись с просьбой оценить, ощупать какое-нибудь худосочное четверостишие, но выглядели прищелцы крайне самодовольно, было понятно: никакой вердикт их не разубедит в зна-

чимости наскоро сотканных вирш. Поэзия пишется для поэтов. В кругу друзей они горазды громогласно выступать, витийствовать, перебивать друг друга, не слушая, заполняя пространство одновременным гулом десятка стихотворений, сливающихся в *у-быыы-гуууу-буу-буууу-мууу-муууу*, так что маниакальное стремление к выпуску тонких книжек (как правило, стихи известны наизусть и самому поэту и его бабушке, и даже его смышленной собачке) противоречит природе стихов, и есть горькая правда жизни в том, что книжицы, пройдя через брезгливые руки и всеядные магазинные точки, оседают именно здесь, в пыли, в темноте. Может быть, они читают сами себя, а всего верней, ликуют, освобожденные от человеческой задачи, или тихо умирают, какое мне дело, какое мне дело... Становлюсь на колени, чтобы добраться до дальнего угла, выхватить книгу залежалую, самую тонкую, самую плохую. Открываю наугад, не глядя на автора, и вслух читаю, покачиваясь, длинное, мутное, тоскливо-элегическое:

В одиночестве каменных стен  
Много маш много петь много лен

Воет ветер над ликами крыш  
Обещая несчастному шиш

Смерть и та недоступна ему  
Как он жив недоступно уму

Это значит прощения нет  
И дрожащий его силуэт

Пропадает в канючем окне  
Как в холодном и черном огне

Без надзора гуляет звезда  
По холодному глазу дрозда

И бесстыжая клеится блядь  
К постовому чтоб мужа предать

И маячат еще за окном  
Чьи-то тени, чтоб было потом

И антенны растут на висках этажей  
И мокрицы лежат на горбах гаражей

И торопится птица пока не светло  
Вырыть лаз под оконное это стекло

Никого не спасти в эту ночь  
Сумасшедший насилует дочь

Спит алкаш среди мусорных куч  
Со столба надзирательный луч

Смотрит косо; я тоже погиб  
Спит в кишечнике трупный полип

Боже, мброже, гудят провода  
Или бредит ночная вода

И в подушках безмолвствует пух  
И нечистый бесчинствует дух

Больше нет ни имен, ни зверей  
Только ржавое мясо дверей

Колобродит стеснительный вор  
У гнилых обеспеченных нор

И кромешный вместительный сон  
Был один бесполезно спасен

Плачь, ребенок в открытом окне!  
Все, что водится в медленном сне

Мне внедрили в затылок, в висок  
В переносицу, наискосок

Я гортанью прилип к ледяному стеклу  
И хватаю щелястую мутную мглу

В порошок истери, в порошок  
Положи на бочок, посошок

Я дрожу как слепая медуза гардин  
Посреди одиночества скверных картин

Коробит последний образ «медуза гардин», а в целом неплохо. Николай Федюнин. Тираж 30 экз. (верно, домашний принтер поработал). Портрет прилагается. Усатый, носастый дед. Похвалю, если принесет, но лучше такие стихи читать только здесь и только по случайному стечению обстоятельств (а еще лучше, с содроганием подумал, поражаясь садиству во мне, если рабочие забудут вынести эту книжку и она останется навсегда в подвалах Горьковки, и за годы на ней нарастет слоистый ком серой пыли, где расплодятся юркие насекомые). Все-таки замечательная профессия – читатель! Находим такие удачи, перебирая погонные метры бестолковщины! Правда, непонятно зачем. Ну вот нашел... Не читая другие стихи (опытный грибник, я предполагал, что рядом с крепким боровиком таится бледная поганка), пихнул сборник в щель над собранием сочинений французского фигляра, некогда столь же важного для декорирования интерьеров коммунальных квартир, как шелуха семейных фотографий, – прошелестев, упал так далеко, что пальцы не дотягивались.

Капала вода, что-то шуршало, поскрипывало. Страх я не испытывал, вокруг были книги, – защитят от чего угодно, я с ними провозился всю жизнь, и должна быть ответная благодарность. Воображая, что на плечах бархатная мантия, вскинул подбородок и сделал несколько шагов. Ладони уперлись в пыльные полки. Это мое и только мое королевство! Никто не отнимет его, и будет оно процветать, и жиреть и расширяться, покамест не вымахнет до пределов земли, вобрав все главное из человечества, и запестрит чудесными зданиями с причудливыми окошками, и краше

всех замков на зеленом холме возле синего моря. Я сижу в башне и нежно руковожу загадочными процессами воображения. По левую руку – Варенька в горностаевой шубе. По правую...

\*\*\*

Не успел придумать, кто по правую. Раздался грохот, скрежет. Пол ходил ходуном, сыпалась известь. Будто под натиском бурных волн шатался корабль. Я упал на колени, и, осознав, что произошло, зажал рот, чтобы не закричать или не зайтись хохотом. Толчки закончились. Я побежал наверх. Коридор наполнился завалами, лестничный пролет рухнул, и звенела, все звенела какая-то душераздирающая нота. Плиты загромождали путь. Темнота была равная, еще более густая. Неизвестно, что наверху – все ли здание упало, тогда у меня нет шансов, или авария локальная, на моем участке, тогда шансы есть.

Я лихорадочно считал варианты, как сумасшедший калькулятор, и выходило, что в любом случае шансов немного, что их нет, нет, кричал во мне маленький человечек, который доселе прятался, и вот выкарабкался из-под какой-нибудь ключичной ямки и требовательно заявил: нет! хочу жить, сидеть в ямке, копить темноту, а ты протискивайся, проникай к свету, и дыши, дыши, бо тут дышать невозможно. Я кашлял, еще немного и потеряю сознание, поэтому отказался от попыток продраться тем путем, каким пришел, и кинулся прочь, вглубь, еще дальше, еще ниже, сколько же там этажей, с ужасом думал, спорю семена по ступенькам (споры, семена – чем бы ни тешился ботаник, лишь бы не подступала явь), и надеялся, что волна душной пыли не достанет. Она и в самом деле отступила, дышится легче, и я все равно не мог, я не мог взять себя в руки, не мог, не мог...

Верхние этажи затопила мгла. Внизу горел бледно-желтый свет. Промашнув несколько пролетов, побежал по новому книжному коридору, к лампам, чтобы увидеть самого себя – колени, торс; уяснить: не пропал, не кончился, вот еще ты существуешь, и не одной только мыслью (сомнительная производная наших поступков), но и телом; и чтобы согреться – я как-то враз похолодел. О, ангелы, ангелы. Сначала ничего не понял, потом ошарашило. Я человек логический, осторожный, но когда спускался, был голым ребенком в черном чулане. Пробовал стонать – выходило неуместно, подвывать – уже лучше; на бегу дергал волосы, чтобы испытать толику боли и бешеный кайф от того, что живу, живу... Отголоски грохота звенели вдалеке, и вблизи они тоже звенели, и во мне звенели эти проклятые отголоски, словно я рухнул внутрь себя... ибо я отказывался воображать, признавать и верить в то, что старейшая в городе Горьковская библиотека стала грудой обломков и погребла меня в своих подвальных хранилищах. Значит, ведутся работы. Воеет экскаватор. Все, конечно, осведомлены о незавидном моем положении, и выкрикивают мое имя в тщетной надежде, что откликнусь.

Я здесь! – закричал неистово, но тут же осекся, потому что пошло такое массивное эхо, что испугался, как бы остальная часть здания не рухнула (как же это происходит: сперва заволакивает густая пыль, в ноздрях пыль, и вот с нежностью слоновьей, боком, под спину, – плита), и присел под источником света, убеждая себя, что нужно подождать и вопрос сам собой закроется (как смешно: закроется; меня уже закрыли).

Не доносилось ни звука. Не помню, на каком минус этаже нахожусь. Всюду стеллажи, пронумерованные ряды книг, и откуда они берут столько литературы, и зачем. В конечном итоге все сползается в библиотечные катакомбы и застывает. Смерть не встроена в книгу, как встроена в автора. Период распада бумажного листа – 3 656 598 лет. Время разложения человеческих останков – 6567 минут. Развлекаясь неуклюжими образами, оттягивал собственную смерть, которая, по моим прикидкам, уже началась (надолго ли хватит воздуха?) и закончится в лучшем случае через несколько дней.

Меня охватывали панические настроения. Я готов был на что угодно, лишь бы просунуть голову в неведомый прошел и задышать живым воздухом, обогащенным кислородом, а не

подвальной мутью. Напала клаустрофобия. Близилась клаузула одной примечательной строфы. Водятся ли здесь крысы? Не замечал, но уж лучше тотальный развал всего, с грохотом, лягом, чем тихое, под противное попискивание, покусочное исчезновение. Впрочем, найдут. Работы ведутся. Ведь не могут оставить человека, настоящего, полезного! Через полтора часа я пережил слуховую галлюцинацию. Кто-то Варенькиным голосом звал меня по имени. Сперва побежал, потом уперся лбом в стену и заворчал. Думал, самообладание вернется моментально, стоит перестоять страх, подключить практическое мышление, да он куда-то пропадал и тоскливо ныл внутри. Я действовал разумно. Выждал, пока осядет пыль. Болезненное занятие – продираться через барракуды баррикад. Тупики, неподъемные громады. Как же так, как же так... Сколько ни прислушивался – ни шелеста. А ведь могли забыть про меня, отложить, к примеру, на выходные. Или вообще не знают, что некто проник. По циркулярам никого быть не должно. Верить бумажкам удобнее, чем свидетельству беспокойной уборщицы. Или авария настолько мелкая, что не заметили, и опять-таки по этому растреклятому циркуляру обход раз в неделю, а к тому времени я превращусь в прелестный труп. Если можно думать с завыванием, то я думал именно так.

Конечно, у меня нет надежд. Конечно, я надеялся. Рыдать над развалами лестничных проемов было небезопасно, трещины могли снова заплясать гопака. Я решил перенести свое горе обратно и, уже убрывая, наткнулся на гениальную идею обыскать подвалы с дотошностью угрюмого сыщика. В любом сложно устроенном здании есть запасные выходы, лазейки. Где-нибудь в самом конце – дверь, за ней лифт, чудесное спасение, встревоженные рожи библиотекарей. И таким макаром размышляя, уходил глубже по этажам.

\*\*\*

В одно утро, прозрачное настолько, что я мог видеть собственное сердце... Короче говоря, сто лет назад я испытывал проблемы со сном, и едва рассветало, после изнурительной борьбы с бессонницей бесцельно гулял и беспредметно думал. Была осень... была и будет осень. Я уже не помышлял, что вот мы с Варенькой, после плотного ужина, к примеру, – фильм, нет, я промышлял иными фокусами, – как сохранить равновесие на льдистом бордюре, как затянуть шарф, чтобы не посинеть от нехватки воздуха, как продолжать читать, коли все наперед понятно и дальнейшие события имеют механическое значение – растянуть неизбежный, неуспешный финал. Я вспоминал о ней с ужимками нелепого смеха, дескать, вот развлеченьице, обманы судьбы, круги на воде, – и вовсе забыл. У читателя если и не растворяются память и личность (и такое происходит), то слегка портятся, тончают, трудненько удерживать незначительные происшествия, мелочи, лучи на водосточных трубах, докучные голоса.

Однако помню сквозистое утро. Алый шлейф на облачном канте, перепалку птиц. Я гулял дольше обычного, потому что хотелось. Никто не мог помешать мне гулять до скончания века. Я сам себе хозяин. Я взрослый, обеспеченный, беспечный человек. Захожу – никуда не вернусь никогда. Совершив круг по знакомым улицам (всегда совершаю круги) и найдя реальность в удовлетворительном состоянии, вернулся в подъезд, и туда уже как-то пробралась Варенька. Ее покачивало не от пива, но от слез. Сидела на подоконнике, вздрагивала. Неловко не замечал девицу, крутил ключом, пытаюсь попасть в замочную скважину. Надо другой. Вот теперь правильно. Обдало волной домашних запахов, я нерешительно застыл на пороге, и все-таки на руках, не справляясь с углами, узким проемом, не слыша собственного голоса из-за рыданий Вареньки, нахлынувших враз, занес ее, осторожно положил на диван.

Прошла неделя, и я был в курсе всего. Ссоры, бывший, клубок банальных неурядиц, не это меня напрягало, не это тревожило, я попросту боялся, что окажись она в таком состоянии одна, покончит с собой, и вот я выхожу как бы избавителем, благодетелем, значит что-то такое во мне есть, и я не просто читатель, а больше, сильно больше. Приходилось изображать человечность,

признавать право на капризы. Но я не любил ее. Пришла весна, а мы жили вместе, и никто не тревожил нас, никто не встречал в тишину совместного быта. Вот, значит, происходили события локального масштаба. Дважды являлась веселая, краснорожая мать, не с угрозами, но с требованием, выставленным Варе: выдать энную сумму на опохмел. Требование было удовлетворено частично. И каждый, каждый день, до ночи болталась с подругами. О чем они щебетали, я не знал, потому что читал, исправно работал. Верно, обсуждали меня, мои книги, мою пустую, грязную конуру.

И тут надо бы перейти к важному моменту, но я не знаю, как начать. Ведь все-таки если двое молодых людей (а я был ух какой молодой!) живут вместе, они неизбежно начинают как-то сходитья, общаться, сношаться насчет мелочей, страшных теней на потолке, долго не закипающего чайника, и с последним возникали непонятные проволочки. Я, конечно, готовился, я знал, что неизбежно, что вот-вот... и пока закипает, надо же чем-то занять время, окромя шахмат и телевизора. И все это были тоскливые внутренние переговоры, когда сам себя просишь сдаться, капитулировать. Она же общалась и призывала сердитыми взглядами или нарочитой ленью.

Мы лежали в одной постельке. Тут должны происходить разные вещи. И какие-то сумасшедшие явления из тщетных фантазий забытой юности, и что-нибудь новое – упоительные силы, стремления, что-то не книжное, совершенно другое, из иного порядка реальности. И вот так она, бывало, заголит грудь, например, случайно, и ждет, я приобниму, шепчу что-то бессмысленное, двусмысленное, и ничего. В смысле, ничего со мной не происходит естественного. Не отзывается та часть, которая должна, обязана отзываться. Что, конечно, злорадно мыслил я, будет вялым предметом их завтрашнего обсуждения. По факту этот член организма работал исправно, и обе функции в гордом одиночестве исполнял, но в компании... Вот мы приобнялись, вот она говорит, что хочет, лубит, вот я нагло, в лицу вру той же монетой, – и ничего, и она уже как-то трется и дышит странно, да о чем я, о чем я, это все не то, не то, нельзя...

Как бы аккуратно подвести... Я не был импотентом или поклонником однополой страсти, может быть, я просто боялся Вареньку... Да как же можно ее бояться! Нет ничего более пушистого, примитивного, незлобивога, хитрого... Я был счастлив. Иногда на работе глаза скользили по строчкам, составляя дикие, абсурдные предложения. Иногда порывался обратиться к доктору, да умерял прыть, ибо трусоват, стыдлив. В аптеке, бывало, покупал средства, но действовали не так, не вовремя, не совпадали с симфонией, которая должна была играть в мозгу. О, если бы я признался, что до сих пор девственник, Варенька обсмеяла бы меня, и я бы красиво и жутко закончил с собой, и ничего бы не произошло, всех этих неприятных происшествий, а так приходилось играть загадочную личность, выдумывать мерзкую жену с выводком слепорожденных детей, уплывших на каноэ в Канаду, угодивших в Уганду, в анаконду.

Итак, в отношении половом я был не ас, скорее – пас. Пассия моя ничуть не страдала, довольствовалась малыми дозами, мы сходились гомеопатически, ну да что об этом говорить. Ни то ни се. Ни туда ни сюда. И все-таки поговорить надо! Парадоксально чувствуя собственную вину, Варенька искала какие-то способы, и они были странные, о боже мой, какие странные... И – ничего, ничего. Я засыпал сильно позже и не раз замечал, что когда она спит, и вся беззащитно распахнута, оголена, что-то могучее во мне шевелится, торопится. Стоит ей шевельнуться, дрогнуть – пропадает. Я предложил идею, она подхватила, и я перехватил, дескать, усилим аллитерации, усложним синтаксические конструкции. Короче говоря, мне до умопомрачения нравилось, когда она изображала мертвую. Сдобный орган как на дрожжах... Ах бедное дите, вот ты и стала жертвой расправы, ах, как растрепались волосы, и тонкая струйка крови (непреренно тонкая, но отчетливая – кетчупом) по бедрышку – кап-кап... Изувер сбежал. Полиция далече. И только я, случайный прохожий...

Удивительная игра доставляла мне неописуемое наслаждение. Впервые, впервые в моей повествовательной жизни – изъывительное наклонение. Бог – ты есть! Так я в один момент лишился девственности с девчонкой, которая усердно имитировала мертвую, и до сих пор не знаю, можно ли это считать за тот самый загадочный полноценный секс, или все-таки не очень

полноценный, да ведь и не важно. Что-то пошло, зазвенело, тронулся лед. Не такой уж это и секрет, в общем. Нормальные связи обычных людей. В конце концов, как еще расслабиться после нудной работы?

Быстро вошло сие упражнение в мой будничныи ритм. Тащить, именно тащить тело в берлогу, вот она бьется головой об угол кровати, старается сдержать улыбку, и он, урча, облизываясь, приступает к поэтапному чтению. Ведь это и чтение в каком-то роде. Ведь как с новой книгой мы поступаем. Спустить суперобложку, нащупать мякотку. Запах типографской краски, слипшиеся странички... Начинаешь мурлыкать от удовольствия, проникая в суть иной вдохновенной фразы, толчками, толчками – в хитросплетения сюжета, и так до кульминации, где героиня (о, это шаблонная романтическая чушь!) не может сдержать пылкие чувства, хотя сердито ей шепчешь, и признается во всем, и тебе, снобу, интеллектуалу, вот тебе и нравится эта незамысловатая история, и дочитываешь размеренно, пристально, желая протянуть еще несколько вязких, липких страниц, еще, говоришь, еще, да уже дрожат, мельтешат мелким курсивом набранные выходные данные.

\*\*\*

Сколько я прочитал? По самым скромным прикидкам, книг десять. На меня напал, вы понимаете, жор. Исследуя подвалы в поисках выхода, я пришел лишь к тому, что он сильно глубже, чем предполагалось, не три этажа, не шесть, а энное количество. В какой-то момент стало страшно спускаться, ведь это путешествие в одну сторону, и я завис в каком-то из хранилищ, прочитывая книги – бездарные, даровитые, годились любые, только бы перестать бояться того, что произойдет. Я застрял под землей. Я был голоден. Надо мной этажей сорок, не меньше, и все ждал, когда последний. Не возникал, заветная дверь не выглядывала. Все было однотипным, даже книги и те казались одинаковыми, опять Ковалев, снова Успенский. Прочитал три явно заказных романа из эпохи барокко, четыре из современной жизни – про байкеров, про снюс, еще пару детских детективов и отвратительный перевод Пруста.

Голод толкал на решительные действия. Я побежал обратно, оценивая, сколько прошло часов (включая минуты бледного забытья) – семь-восемь – бригады рабочих наверняка разобрали... И там по-прежнему, завалы, густая пыль. Кашляя, ринулся вниз, и теперь уж миновал этажей, не совру, сто или двести, и – не заканчивались. От голода и усталости сводило ноги. Из книг соорудил нечто вроде ложа, чтобы мягче спалось, и провалился в мутный обморок, который нельзя назвать сном. С добрым варем! – бодрил себя, пробуждаясь. Во времени окончательно перестал ориентироваться. Дважды ко мне приходила Варенька. Мы с ней играли в прятки. Я понимал, что схожу, что сошел с ума, но такова была реальность, и я гонялся за нежным привидением, веселый, счастливый. Воду удалось найти – по стенке текло ржавое, тухлое. В поисках пищи вознамерился поймать крыс. Не водились. Пауки не утоляли голод. В какой-то момент понял, что книги очень вкусные, особенно поэтические, из малотиражных издательств, зачастую с автографом на исподе обложки, что если осторожно, из серединки, надрывать полосками, маленькими порциями, то даже какой-то ресторанный привкус имеется – из китайской кухни, для гурманов.

Я набивал рот бумагой, жевал отчаянно, до слез, убеждая себя, что кошмар ненадолго, вот-вот распахнутся неведомые двери, скрытые в нишах, и ринутся ко мне избавители с подносами, уставленными заморской снедью. Вошел во вкус, привык. Были они удивительно разные – соленые, приторно-сладкие, с перчинкой, были и несъедобные, тошнотворные. Были и такие, у кого твердая обложка оказывалась нажористой, а мякоть – водянистой, пресной. Ковалева хватало на несколько дней. Три тома про Незнайку, смакуя, растягивал на неделю. О, это условные временные рамки. Возможно, проходили минуты или годы, нельзя сказать наверняка. Я удивлялся, почему люди не додумались есть картон, он довольно питательный, волокнистый. Дерево – источник жизни. Ведь едят зайцы кору и не бухтят. Теперь желудок не бурчал. Сытость – залог хорошего настроения. Я продолжил исследовать подвалы, но как будто ходил по одному и тому же месту,

и уже не знал, погрузился на 1001-й этаж или поднялся на 102-й, или сплю и вижу неприятное сновидение.

По любым рациональным прикидкам я должен быть мертв. И все-таки жив и даже неплохо устроен. Меня не взяла пыль, отпустил голод, и страх больше не являлся. Я чувствовал полное спокойствие, переходящее в блаженство. Знал, что буду продолжать спускаться и никогда не дойду до предельных этажей, потому что уже нахожусь в центре Земли, и коли вылезу, так где-нибудь в Америке – хенде хох, хау ду ю ду, и хохотал, и эхо сотрясало мою темницу.

Выстроил из книг вполне пристойную палатку, с мягким полом, жестким потолком, в ней пахло так остро, будто я находился внутри десятка текстов одновременно, или в типографской машине, был элементом краски, обязательным атрибутом качественной полиграфии. Тут и нечитанные книги, и нележанные, и вот я их отлежал. Со временем одежда пропиталась потом, продралась, сделалась лишней, стесняла движения – к чему неудобные обноски, когда меня никто не видит. И я раздевался, вставал под ржавую струю, кое-как мылся и облачался в свободное, легкое одеяние, которое смастерил из книжных листов – гротескное подобие мантии с высоким воротником. Забуривался в палатку, расправлял полы накидки и сидел в позе лотоса, воображая, что это мое и только мое королевство. Куда ни кинь взгляд, словно черные тараканы, лепились и сливались буквы.

Я давно не читал, потому что плохо понимал прочитанное: или выходила полная чушь, или какой-то слишком ясный, невыносимый смысл. Да и не к чему – тексты были всюду, ползли по груди, по стенкам жилища, растворялись в кишках. Чудилось, что черточки на бумаге – элементы эскимосского дизайна и не несут иного значения, кроме как визуально представлять культуру далекой страны. Я подгрелбал к себе книги, боялся, что кончатся и умру. Гладил шершавые обложки, пел им наобумные песенки, как тебе пел, *je t'ai chanté*. Ржавая вода плохо смывала грязь, оставляя медные разводы на лице и на теле. Я отказался от бесполезных омовений, изготовил двойную, тройную мантию, смастерил причудливый головной убор наподобие индейского, с обрывками из Льва Толстого на лбу, обернул ступни в журнальные листы, на одном – печальная мордочка молодой поэтессы.

Мне приснились два глубоких афоризма:

открой глаза и закрой себя  
орудуй истину и орудуй привидение

\*\*\*

О, мое привидение! Как ты со мной безжалостно обращалась – было это всегда, и я не замечал, погруженный в гипноз тактических ухищрений, или запросто пропускал мимо своей закаленной нервной системы, или, господи, это норма, доселе неизвестная мне... После того как мы начали вести игру с покойником, Варенька стала капризничать, да что там – она уже не воспринимала меня как человека, с тайной, с неизведанным за душой, и как-то повышала, что ли, некрасиво голос, лгала или не приходила, или, например, скрывалась в унынии, отказывалась говорить и называла меня разными словами. Было неприятно, но в целом терпимо.

Конечно, убить Вареньку за пустяковые придирки я не мог, требовалось что-то еще, но оно никак не наступало, и наши отношения – мои первые отношения, всамделишные, пусть не на любви, на уважении построенные – эти отношения я постигнуть не мог, и только много позже понял, что это она меня любила, что это и есть любовь, что она вот такая, такая, а мое тактичное, равнодушное подлаживание называется как-то иначе, на непридуманном пока языке. И все прочее, что придется сказать, желательно тоже говорить на нем, чтобы никто не понял, чтобы высказаться до финала и ничего не осталось, и в слезах, под гулкие овации, удалиться, затаиться. Мои

ангелы, мои архангелы! Да и что за слово – «убить»? К чему оно бесцеремонно вылезло? Я человек миролюбивый, зла нет во мне ни грана. Ласкать, утешать. Увещевать – в крайнем случае. Но чтобы убить – нет. Вот и сказал, вот и вылезло, вылезло (и какой ужасный конец: зло; вы ли зло?). Варенька жила в моей конуре пятнадцать лет и не старела, нет, числа путаются. Сколько мы прожили, она прожила...

Возможно, все случилось на следующее утро. Была весна, под окном шлялись больные голуби, отражаясь в черной луже, похожей на улыбку клоуна. Текло солнце, как пригоршня желтой краски, зашвырнутая сорванцом на гладкую лазурь горячего неба. Ты еще спала и так была совершенна, так неподвижно-белокаменна, что я над тобой замер, с неудовольствием отмечая, что вот немножко дышит, шевелит пальцами, а в принципе хороша, хороша, и как прихлынуло ко мне чувство вины! ...и как прихлынуло ко мне чувство вины, что не сдерживаясь я начал его уминать, умолять и уже совсем уморил, как вдруг она перевернулась на спину и открыла голубые глаза (пользовалась немецкими линзами), и опять пропало, и мы стали притираться по-дурачки, и – ничего. Ангел мой небесный! Я вышел на кухню приготовить тебе кофе, сопровождаемый шквалом обидных слов, и у меня дрожали руки. Ты не вернулась, вернулась навеселе, пропала на месяц, пришла, чтобы меня пилить, как старая карга, я уже не знал, что с тобой делать, что делать с собой, о чем говорить, как дышать, чтобы, не дай боже, тебе не понравилась интонация дыхания, вольная траектория взгляда. Я взрослый, образованный человек. Я прочитал десятки тысяч книг. Половина из них – о любви. И вот споткнулся об Вареньку. Она меня любила. Конечно, я не мог ее убить. И тем более что-то зловещее задумать. И даже если все-таки задумывал, то очевидно в плане бессознательном, на уровне молекулярном, так что это был не я, не я, а какой-нибудь кривой атом, сбитый с орбиты. Боже мой, боже мой.

Дело-то несусветное. Человек я, повторяю, здоровый, уравновешенный. Я уже начинал находить приятность в своем бедном одиночестве, как пришла она и что-то такое во мне повернула или надломил, и я ощутил себя незащищенным аки ребенок, что на пятом десятке, конечно, болезненно. Куда, куда девалась моя невозмутимость, моя расчетливость, мое тихое самолюбие. Я попросту ее не любил, вот и все. Другие объяснения запрещены. Je ne l'aime pas. Но перечитывать ее мне нравилось, более глубокие смыслы, плавные завитки сюжета, незамеченные ранее, мягкий хруст таких знакомых, таких терпких страничек, терпи, терпи... стремительный сюжет, покладистый персонаж, какие-то лихорадочные перемещения закладки туда и сюда, и туда и сюда, господи, мой ангел небесный, всё, что мы называем художественной литературой...

Я тебя не любил, но находясь в самом помраченном состоянии сознания не сотворил бы с тобой зла, ведь ты мне преданна, поручена. Что я должен был делать? Сносить, привыкать. Так и происходило, в такой последовательности, а потом я тебя не убил, не мог, я же не зверь, не черт из выдумки лупоглазого деревенского дурачка, я читатель, профессиональный дегустатор безвкусной стряпни. У меня – совесть, молчание совести, мычание, мука. С этой точкой зрения взглянем на обстоятельства того несчастного дня. Я не виноват. Все было против меня. Запутался в одеяле и, вставая, рухнул, и вот прихрамывал, и вот молоко убежало на тощих ножках в свою молочную преисподнюю, и злорадная птица долбила в антенну. У меня болела голова. На улице бросилась псина – короткий поводок спас мои ляжки. В трамвае обхватила чудесная невменяемая бабка. На работе три настырных писателя бились за право очереди, пока их не вывели с охраной, и я скучно провел время за чтением душного, хоть и ладно скроенного романа про итальянских шпионов. Они виноваты, а не я. Все было подстроено, все заранее сговорились. А не я, не я.

У Вареньки болела голова. У нас болели головы. Она встретила меня с кислой миной, не соизволила прыгнуть на ручки. Валялась на диване, уставясь в экран. И я, человек спокойный, замечательный человек, и сделал ей это треклятое замечание насчет того, что крошки на простыне, колот, и она прямо превратилась в кошку, злую кошку, понимаете. Она выгнулась и выругалась – шел вон, урод. Ушел на кухню, взял острый нож... Тут же положил обратно и

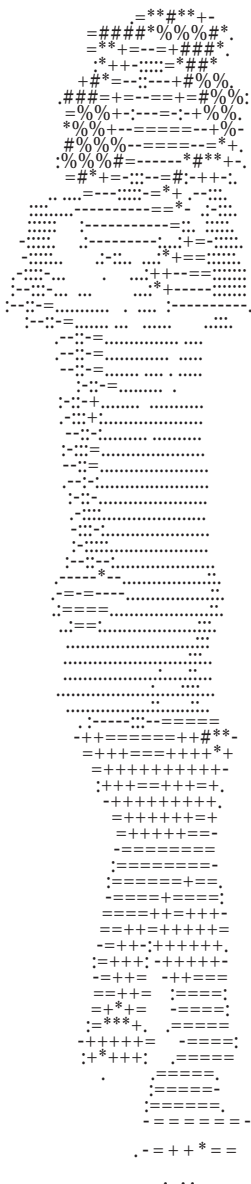
взял себя в руки, и тоже положил обратно, и лбом прислонился к стеклу: остыть. Что-то бешено колотилось внутри, будто желал выбраться некто доселе скрытый, хозяин, волевой мужик. Кто она, в конце концов, и кто я...

Весь вечер Варенька продолжала «эскалацию» конфликта, а я занимался вещами отстраненными, спокойно брился, спокойно гладил рубашку, невозмутимо ходил взад и вперед, хладнокровно грыз ногти, тихо смел крошки, тихо снес простыни в стирку. Я не мог предложить ей сейчас же уйти, потому что она бы действительно ушла, и что останется – вот эта чистая комната, вот это окно, за которым вороны и березы, вот этот полосатый коврик, вот эта проклятая заусеница на пальце. Именно она, именно обидная заусеница стала непонятым призывом к действию. Я смотрел на нее, и меня распирало от слез. Варенька не видела, что я плачу. Это называется отношения. Миллионы людей находятся в отношениях. Они счастливы. Привалило счастье и тебе.

Была глубокая ночь. Она спала как младенец, меня не пустила. Когда же под утро, измученный бреднями тихой истерики, прилег рядом, почувствовала меня и во сне демонстративно отвернулась – даже во сне! – что будет потом... Снова проклятая заусеница. Я не мог смотреть на нее. Она разбухала на всю спальню. Она виновата. Я не убийца, не псих. Адекватный человек. Было невыносимо, и, зарыдав в голос, накрыл заусеницу подушкой – конечно, не сделал этого, я не сумасшедший. Накрыл подушкой и пять минут всего подождал, пока заусеница не перестанет трепыхаться, и какое было странное облегчение чувствовать, что уходит из нее все плохое – злоба, ненависть, отчаяние. Они покидали тебя, шептали Adieu! Тело распрямилось, стало податливым аки пластилин. Я ведь не Вареньку убил, я убил заусеницу. Наступила неприятная тишина, потому что теперь дышал только я, и дышал за двоих, за троих, со всхлипами. Я не убийца, я маникюрщик. Совершил косметическую операцию. Подправил кое-чего. Вот теперь как надо. Только оно не было как надо!!! Теперь она, понимаете, в лунном свете лежала вся запрокинутая – как кинозвезда на рояле – и я на коленках над ней стоял и покрывал поцелуями теплый лоб, виски, щеки, и мое естественное оружие вздымалось, потому что больше Вареньке не нужно притворяться, играть в фальшивые игры, подлаживаться, теперь все по-настоящему. Реальность вступила в свои права, грех упускать такое совершенное стечение случайных обстоятельств. Банальный бандит слинял бы моментально, затаился в канаве, но я не был бандитом и не замечал за собой тяги к разного рода криминальной активности, все произошло неожиданно.

Я стоял над ней на коленях, и она как-то сама собой сделалась без обложки, и помчались по ней мои бесцеремонные руки. Как в первый раз, только ярче, страшнее. Я не просто читал, я был там, внутри, в каждом атоме этой сумасшедшей истории, я истекал слезами, соками, кошмарами, адом, я адом истекал в райские врата и никак не мог истечь, потому что история была совершенна. Ненасытный, я выл как зверь, рыскал по тексту, как сущий литературовед, в поисках чудесных откровений, структурных элементов, и находил, и точно знал, что все прежнее ограничивалось условностями игры. Третий, четвертый заход – а я такой же бешеный, точно сто лет просидел в темнице без книг и вот дорвался до читального зала. Или будто мне отрезали голову, и я был электризованным туловищем, одержимым одной незатейливой идеей. Прочь, метафоры! Да ведь вот он – настоящий секс! Вот! Могу кричать о нем, говорить о нем откровенно, не тушуясь, теперь и я такой как все, познал азы, стал полноценным членом общества. Вот как он хорош! О, хорош! Стоило только жизни моей пойти под откос, и вот тут выскочил – утешением перед гибелью.

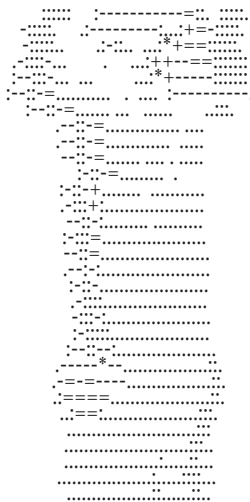
Это продолжалось полтора суток. Спал урывками, видел гнилые, божедомные сны. Варенька продолжала играть в покойницу, проникаясь игрой так глубоко, что даже пятна соответствующие на ней появились, и пахнуть стала сладко, моя конфетная девочка, и уж не раздвинуть твои бледные чресла, прочно стянутые оконечением. Прежде чем перейти к остальному, нужно нарисовать картинку. Вот она, Варенька:



Пусть останется такой навсегда. Вскоре начнут происходить удивительные вещи. Костоломные, укромные. Я не бывалый бандит, но ведь и не клинический идиот, и знал: придут, с голодными слюнявыми псами, обыщут, упекут. И что им мои оправдания, убеждения: не я,



Une histoire d'amour варенька, C'est la chanson варенька de l'océan нька les nuits d'été  
варенька Un souvenir qui va durer варенька l'éternité ша Pour moi va ce rю soir ша ma нька vie s'en  
va mais notre amour  
Ne finit pas



### Une h I s t o

ire d'am собирайся и уезжай, я устал терпеть твои капризы! Ne m un e pas v t mouil à v i v v в  
a p cipprrpplssturrei seul en deeure ouurÇa net Ranri eufaudra сядатressояррррррррррррNеplерас.  
Она и хлюпала, и чавкала, и как-то потусторонне постанывала, когда я с видом чрезвычайно  
озабоченного крота прятал плоть в пакеты, уже ничего не понимая, отказываясь думать и  
надеяться. Я все оставлял на потом. Вот избавлюсь от бесконечного позора голых конечностей,  
от стеклянного взгляда, от волос вездесущих, ну куда лезут, от пальчиков оловянных. Я смы-  
вал темное месиво, вода бурлила в воронке и оставалась красной. Кровь капала с меня, мной  
можно было писать диковинные картины, я туда и улегся, в темно-красную красоту, в горячую  
ванну, лишь бы скорей избыть запах и липкую муть, и будто провалился в нее снова, в В., у меня  
снова заработал агрегат. Я так не могу, закричал, не умея сопротивляться, и снова утишил свою  
первобытную нежность, вслепую нащупав корявый торс возле стены.

Ангелы мои, архангелы! После всего, что я тут набормотал, мне вряд ли удастся избежать  
порицания, отрицания, полицаев, патрициев, господи, одно меня утешает – я не стану читать  
эту повесть, ведь я никакой не читатель, сия повинность (хорошенькое слово) не входит в мой  
обязанности. Может быть, всучу какому-нибудь влиятельному читателю, пускай расхлебывает.  
Остальное помню урывками, ровно до того момента как подошел к библиотеке. Я ходил  
несколько раз. Сначала сволок торс и зацелованную голову. Мусорные баки в двух, трех  
кварталах от дома хранят тебя. Затем избавился от ног. Они булькнули в Каму, холодные пятки  
заправских ныряльчиков! И вот не знал, что придумать с твоими ручками, и все ходил, кружил,  
дрожал, воображал немислимые беды, победы над вороньем, войны.

Час был ранний, никто не видел мои бессмысленные блуждания. Я уходил в город все  
дальше, пока не оказался в толпе подвыпивших студентов. Они пели ерунду и предлагали  
ерунду, и трогали меня за черный пакет (что там? рыба?) и за волосы, и смеялись, и я вы-

путался, пересек площадь, и подошел к Горьковской библиотеке, перед которой стояла статуя черного всадника с копьем. Несмотря на то что струился красный осенний рассвет, я отчетливо разглядел, что вершина библиотеки погружена в саму себя, что нарушились пропорции, что здание рухнуло, рухнуло, и удивительным было то, что спасательные работы не велись. Может быть, обрушение запланировано, равнодушно подумалось. Я решил: лучшее место для твоих ручек там, в недрах, на дне. Шагнул в пролом, и осторожно двигался в темноте, дальше и ниже, пересекая провалы, завалы, лестницы, потом куда-то со смехом упал, было тепло и тесно, и чем глубже забуривался, тем сильнее понимал, что теперь-то ни меня не найдут, ни ее, никого, и нужно еще глубже, под какие-нибудь невероятные пласты, чтобы самому страху стало страшно, и они нашлись, и я побежал, побежал, а вокруг на железных стеллажах стояли бесконечные книги. Когда дыхания не стало, я прижался к стене и так вздрагивал и вслушивался в длинные темноты, там и сям пронизанные тощим светом голых лампочек, и вот услышал тихие шаги, встрепенулся, поправил книжный венец, втянул ноздрями воздух – густой запах незнакомого человека. И это здесь, в моем королевстве! Чужаки не допускались, могли нарушить равновесие, с трудом обретенное мной в условиях поистине ужасающих. Я – суд и вершина глубины. Я – инициал и параллакс. Принялся за ним следить, на четвереньках бегая за стеллажами, выглядывая через полки. Он шел бесцельно, неустанно. Очевидно, писатель. В черном пакете прижимал к груди очередную книгу. Значит, искал меня. Меня. Он был мерзок. Чем-то напоминал инвалида Игоря. Я находился здесь сто двадцать пять лет. В великом одиночестве. На книжной диете порядком отошал. Все бумажные вкусы давно слиплись в один пресный. Мне снились бифштексы. И вот отменный кусманище! Я настиг чужака возле лестницы, на повороте, прыжком повалил и впился сразу в горло, чтобы наверняка, он затрясся, захрипел и быстро отдался моему голоду. Жор был неутолим. Отгрыз башку, руки, ноги, и все терзал, рычал, мотал головой, хлюпал сладкой, чудесной кровью, валялся в ней, мазал щеки. А черный пакет с его книгой я возьму с собой, может быть даже прочитаю на досуге. Свои-то давно перечитал, и не по разу.